



## Б. А. БЯЛИК

### Судьба Максима Горького \*

Не столько отверженные, сколько отвергшие.

<...> Недавно всеми презиравые «голоштанники» вдруг приобрели, благодаря Горькому, необыкновенную популярность. Прежде говорили о «босой команде», «золотой роте», «лохмотниках», «галахах», «раклах», «горчишниках» и т. п., — теперь стали обычно употреблять выражение, заменявшее все остальное: «горьковские типы». За границей первые сборники рассказов Горького выходили под названиями: «Бродяги», «Отверженные» и т. д. <...>

<...> Отбирая произведения для публикации в журналах и для включения в свои сборники, — отбирая, естественно, то, что представлялось ему наиболее важным, — Горький обычно отдавал предпочтение рассказам о босяках. И эти рассказы представлялись наиболее значительными не только ему самому, но и большинству его читателей, — между прочим, такому читателю, как Лев Толстой, который сделал 11 мая 1901 г. в дневнике следующую запись о Горьком: «Мы все знаем, что босяки — люди и братья, но знаем это теоретически; он же показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью».

И все же отношение современников к горьковским босякам заключало в себе одну общую, хотя и вызванную разными причинами, ошибку. Дело не в том, что были преувеличены симпатии Горького к босякам. В некоторых своих героях-бродягах (правда, далеко не во всех) он сознательно подчеркивал их положительные качества, стремясь показать, что человеческое сохраняется в человеке на самом дне жизни — на дне иной раз в большей мере, чем на поверхности, чем в так называемой «нормальной» среде. Собственно, отличие людей «дна» от этой среды, степень их враждебности ей и определяла степень горьковских

---

\* Глава третья из книги: *Бялик Б. А. Судьба Максима Горького*. М.: Художественная лит-ра, 1968. Печатается с сокращениями.

симпатий к ним. Но именно резкая контрастность этих образов так называемому «нормальному» бытию способствовала одному недоумению. Горьковских босяков стали воспринимать изолированно от других его героев, от всего его творчества, от всей отраженной им действительности.

Какие особенности горьковских босяков открываются для нас в том случае, если мы рассматриваем их в единстве со всем миром его образов? Этих особенностей несколько, и порознь они отмечались уже при первых попытках определить своеобразие «нового автора» как художника. Но никто не поставил их — да и вряд ли мог поставить — в связь друг с другом и, главное, с развитием самой действительности. <...>

Во-первых, фигуры босяков входят в созданную Горьким широкую галерею типов «беспокойных людей», тех, кто в той или иной мере «выламывается» из обычной, «нормальной» жизни. Во-вторых, являя собой крайнюю степень такого «выламывания», босяки отнюдь не представляют однородной группы, — среди них встречаются характеры диаметрально противоположные. В-третьих, все они поставлены Горьким в сложную систему отношений с представителями разных социальных слоев (именно в этих отношениях и раскрываются различия между ними): с купцами, мещанами и «хозяйственными мужичками», с голодающей крестьянской массой, с широко и ярко изображенной картиной России той поры — поры начавшейся крутой ломки всех патриархальных устоев. Наконец, особое значение имеют отношения представителей «босой команды» с героем-рассказчиком, фигура которого долгое время совсем не замечалась критикой или отождествлялась с автором.

Среди изображенных в ранних произведениях М. Горького «беспокойных», на время потерявших внутреннее равновесие людей встречаются такие, которые очень далеки от босяков, даже прямо им враждебны. И все же у них есть нечто общее: все они взяты писателем в те дни или часы их жизни, когда стечение внешних обстоятельств и обострение душевного беспокойства, смутной тоски, причины которой не всегда ясны им самим, выбивают их из наезженной колеи. <...>

Наиболее развернуто изображен этот переход — переход из разряда «беспокойных» в разряд «выломившихся» — в рассказе (это, в сущности, не рассказ, а повесть, я бы даже сказал: маленький роман) «Супруги Орловы».

В большинстве ранних рассказов М. Горького, в которых нет образа героя-рассказчика, босяки противопоставлены носителям собственных, эгоистических, своекорыстных стремлений (Челкаш — «хозяйственному мужичку» Гавриле, Мальва — похожим на Гаврилу отцу и сыну Легостевым, Кувалда и другие «бывшие люди» — купцу

Петунникову и т. д.). В рассказе «Супруги Орловы» в конфликт вступают люди, принадлежащие вначале к одной и той же трудовой среде. Сапожника Григория Орлова выводят из колеи раздумья о смысле его непрерывного труда: «Работища и скучища. Скучища и работища... Научился я мастерству... это вот зачем?.. Ну, ладно, сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня удовольствие?.. Сижу в яме и шью... Потом помру... зачем это нужно, чтоб я жил, шил и помер, а?»

Максим Горький подчеркивает, что, хотя Григорий Орлов и его жена Матрена живут в яме, в темном подвале, и с утра до вечера работают, им живется все же лучше, чем многим. Они оба молоды и здоровы, Григорий — хороший мастер, и если бы Орловы стали копить деньги — появился бы достаток, возникла бы возможность «выйти в люди», выбиться хотя бы в маленькие «хозяева»: «Роковым образом они должны были сблизиться друг с другом и — оба молодые, трудоспособные, сильные — зажили бы серой жизнью полусытой бедности, кулацкой жизнью, всецело поглощенной погоней за грошом, но от этого конца их спасло то, что Гришка называл своим «беспокойством в сердце» и что не могло помириться с буднями...»

«Спасло»! То «беспокойство в сердце», которое не позволило Григорию примириться с «буднями», с «бесмысленным колесом» жизни, спасло Орловых от той «нормальной» кулацкой жизни, главной «нормой» которой служит погоня за грошом. Но спасением это можно назвать лишь в очень условном смысле: выход, найденный Григорием — отказ от труда, — отвергается его женой Матреной. Мы снова встречаемся здесь с той же коллизией, которая была намечена в вводной части первого рассказа Горького «Макар Чудра» и которая нашла потом отражение во многих его произведениях: с коллизией между тягой к труду и осознанием его рабского характера. Разве не о том же «бесмысленном колесе» говорил Гавриле Челкаш, рисуя жизнь в деревне: «Ну... придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну и что? Много в этом смаку?..»

В «Супругах Орловых» эта коллизия поднята на новую высоту: трагические обстоятельства дают Григорию неожиданную возможность заняться делом, имеющим и смысл, и высокую цель, временно прерывая его путь на дно, в «босую команду». Орлов помогает врачам бороться с холерой. В атмосфере самоотверженного и опасного труда возрождается любовь Григория и Матрены и начинается (казалось бы — начинается) их новая, осмысленная жизнь. Если бы рассказ «Супруги Орловы» на этом заканчивался, он имел бы оптимистический финал, говорящий о том, что труд спасает человека от бродяжничества, босячества и т. д. Но Горький от такого финала отказался.

Может быть, продолжение рассказа — описание ссоры Григория с женой и с врачами, его уход из барака и превращение в босяка — надо объяснять идейной незрелостью молодого Горького? Такой упрек ему предъявили, как и упрек в том, что он недостаточно резко противопоставил Григорию, как отрицательному герою, Матрену, как героиню положительную. Однако такой взгляд на рассказ был так же мало основателен, как и другой, согласно которому Матрена, в качестве защитницы теории «малых дел», является персонажем отрицательным, а Григорий, в качестве носителя героических стремлений, — положительным. Никакой связи между Матреной и народнической теорией «малых дел» нет, а что касается героических стремлений Григория, то они терпят полный крах, о чем свидетельствуют его рассуждения в финале произведения: «Вот так-то, значит, Максим Савватейч, приподняло меня, да и шлепнуло. Так я никакого геройства и не совершил. А и по сю пору хочется мне отличиться на чем-нибудь... чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: «Ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего!» А потом вниз тормашками с высоты и — вдребезги!.. Я родился с беспокойством в сердце... и судьба моя — быть босяком!»

Не надо понимать буквально желание Орлова «раздробить... всю землю в пыль», как не надо считать врагом человечества Аристиды Кувалду за его слова: «Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась вдребезги...» Это и не героизм, и не злодейство, это — отчаяние.

Почему же «шлепнуло» Григория Орлова и почему он «никакого геройства... не совершил»? В этом сказалась его слабость — то, что он был «героем на час», не способным на длительные усилия, для которых мало отдельных благих порывов, для которых необходимы высокая цель и готовность посвятить ей жизнь. Но дело не только в самом Григории.

Максим Горький не просто пренебрег возникшей возможностью оптимистического финала: он стремился показать, насколько ложен и фальшив был бы подобный финал. <...>

Горький не оправдывает Орлова, — он дает понять, что, будь у Григория тот «внутренний путь», по которому тосковал другой горьковский герой — Коновалов, ему не пришлось бы выбирать лишь одну из возможностей: тянуть привычную лямку, как Матрена, или стать босяком. Он нашел бы третий, единственный верный выход. Но легко ли было ему и бесчисленным Орловым найти этот выход и этот «внутренний путь», если все устройство жизни напоминало холерную судорогу? Легко ли было человеку повысить самооценку, поверить в себя, в свою способность изменить жизнь, если окружающая

действительность внушала ему ежедневно и ежечасно, что он никому не нужен и что весь мир враждебен ему?

Таким образом, то спасение, которое нашел Григорий Орлов от «нормальной», обывательской жизни, означало не обретение счастья, а глубокую жизненную драму — другое дело, что эта драма все же лучше, выше пошлого мещанского бытия. Так же драматична, даже трагична судьба Коновалова, который иной раз поднимается до подлинной поэзии труда и полон любви и жалости к людям, но становится бродягой из-за растущего в нем сознания своей вины перед людьми, своей неспособности реально помочь им. <...>

Недаром, вспоминая через много лет в очерке «Чужие люди» об одном интеллигенте, бросившем «приличное общество» и ставшем босяком, Горький вложил в его уста слова: «Я не отверженный, я — отвергнувшийся», заметив при этом: «Людей такого типа, — людей, по их словам, сознательно ушедших от «нормальной жизни», — должно быть, немало на Руси». Конечно, молодой Горький изображал и тех людей, которые были «просто» отверженными, жертвами «внешних условий», но характерно, что такие герои оставались в его лучших рассказах на втором плане <...> потому что он иначе их понимал. <...>

В рассказе «Челкаш» типические «голодающие» действительно лишь упоминаются, и лишь в разговорах действующих лиц. Однако разговоры эти крайне важны, так как они ярко освещают внутренний мир главных героев рассказа. Челкаш относится к Гавриле с нескрываемым презрением, но не за то, что он — голодающий, а за то, что он — хоть и маленький, а хозяин: «...за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик». А главное — за жадность к деньгам, страшную жадность, побеждающую в этом молодом парне все остальные чувства, все человеческое. К голодающим с пренебрежением и даже со злобой относится не Челкаш, а Гаврила. Объясняя, почему он мало заработал на Кубани, на косовице, он рассказывает: «Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то! Народу — уйма! Голодающий этот самый припелся — цену сбили, хоть не берись!..» Гаврила не смешивает и не равняет себя с теми, кто бросил родные места, спасаясь от голодной смерти. У него дела тоже не ахти какие: «отец умер, мать-старуха, а хозяйство малое», «земля высосана». Если и возьмет его в зятя богатый крестьянин, то не выделит ради него дочь, захочет превратить в своего батрака. Но Гаврила не бежал от голода, а оставил деревню на очень короткий срок: ему нужны деньги, чтобы он мог быть «сам по себе», «сам себе хозяин». <...>

Составляя свой первый сборник «Очерков и рассказов», М. Горький открыл его рассказом «Челкаш», вступительная часть которого приобрела тем самым особенно большое значение. О чем же говорит это

вступление? Это — картина моря, волны которого, «закованные в грант», стеснены, «подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам», тяжестями судов, и — «ропщут». Казалось бы, образу покоренной стихии должен был противостоять образ человека — покорителя, гордого своей победой. Торжествует, однако, не человек, а только Меркурий — бог торговли: «Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудями товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их...» <...>

Критикуя в 1899 году, в письме к А. П. Чехову, своего «Фому Гордеева», Горький заметил: «Видно, ничего не напишу я так стройно и так красиво, как “Старуху Изергиль” написал». Он называл «Старуху Изергиль» (пока не написал «Рождение человека») лучшим своим рассказом. Такая высокая оценка удивительна у писателя, беспощадно критически относившегося почти ко всему им созданному, считавшего неудачными многие свои замечательные ранние рассказы, «Фому Гордеева», «На дне», «Мать» и т.д. Значит, было в рассказе «Старуха Изергиль» что-то особенно важное для Горького.

Этот рассказ отличается удивительно стройной композицией. Три части произведения освещают три пути, возможные для каждого человека. Автор как бы превращает читателя в героя сказки или былины, выводя его на перекресток трех дорог и предупреждая о тех преградах и опасностях, которые таит каждая из них (то же самое он сделает позднее в повести «Трое»). Содержание первой части триптиха составляет легенда о Ларре (как поясняет старуха Изергиль, Ларра значит «отверженный, выкинутый вон»). Когда-то В. Г. Белинский сказал, что в будущем обществе не будет смертной казни, а за самые тяжкие преступления станут наказывать бессмертием: вечной отверженностью. О той же каре говорилось в гениальной щедринской сказке «Христова ночь». Считая смерть недостаточным возмездием для казненного предателя, Христос воскрешает его, и предатель начинает искать смерти, но не находит: он осужден на вечную жизнь, которая означает для него вечную казнь.

Та же мысль воплощена в легенде о Ларре, только она приобрела у Горького новое значение: он вступил в борьбу с той системой идей, которой суждено было стать едва ли не главным духовным подспорьем наиболее реакционных, наиболее опасных для человечества сил. <...>

Ларра спускается с гор к обитателям долин. Он, сын орла — царя птиц, презирает обыкновенных людей и не хочет считаться с их желаниями и законами. «Всею даже страшно стало, когда все поняли, на какое одиночество он обрекает себя», но самому Ларре это сначала совсем не страшно. Он смеялся, когда племя стало гнать его прочь, и смеялся еще громче, когда его осудили на бессмертие. Он остался «один, свободный, как отец его... Но отец его — не был человеком... А этот — был человек». Человек же, в отличие от животного, от зверя, не может жить вне общества, и Ларру начинает тянуть к людям: «...долго он, одинокий, так вился около людей...» И тогда к нему приходит возмездие: «нет ему места среди людей», «нет жизни, и смерть не улыбается ему». <...> Судьба Ларры учит: нет ужаснее несчастья, чем одиночество.

А легенда о горящем сердце Данко, составляющая содержание заключительной части триптиха, рассказывает о другом бессмертии, которое приходит не как «высшая кара», а как высшая награда, — приходит к герою, жертвующему своей жизнью в борьбе за свободу народа. О чем же рассказывает центральная часть триптиха, посвященная судьбе самой Изергиль? О том, что нельзя совершать подвиги и в то же время жить только для себя, только для личного счастья, что нельзя быть одновременно Данко и Ларрой. К Изергиль тоже приходит возмездие: в душе этой сильной и гордой женщины начинает звучать «боязливая, рабская нота». Поэтому Изергиль вызывает не восхищение, как Данко, и не ненависть, как Ларра, а только жалость. <...>

Н. К. Михайловский уверял, что М. Горький одинаково относится к Ларре и Данко, что оба они в равной мере — носители «морали господ». Он и Макара Чудру называл «сверхбродягой» (по аналогии со «сверхчеловеком») и, в сущности, подводил под это всех горьковских босяков. В этом он был близок (крайности сходятся!) к ненавистным ему декадентам. В том же 1898 году, откликаясь на те же горьковские «Очерки и рассказы», Н. Минский назвал Макара Чудру «степным Ницше» и объявил идеалом героев Горького («и, может быть, его самого») стремление «жить не задумываясь над жизнью, жить в меру не своего разума, а в меру своих сил; любить силу, в чем бы она ни проявлялась, и презирать слабость, под какими бы словами она ни пряталась». Правда, народники говорили о склонности Горького к «культу силы» как о его пороке, сближающем его с декадентами, а декаденты — как о достоинстве, позволяющем надеяться на его освобождение от «пут гражданственности». Н. Минский с удовлетворением отмечал, что «молодой автор дерзнул взглянуть на жизнь самостоятельно, без тех наглазников, которыми разные прощенные и непрошенные учителя и гувернеры так ревниво стараются ограничить

кругозор русского интеллигентного человека». Однако и народники, и декаденты, и нововременцы, и буржуазно-либеральные критики равно приписывали самому Горькому анархическое мироощущение его героев. И хотя все эти критики вскоре убедились в том, что сознание писателя развивается в направлении, не имеющем ничего общего с анархизмом, предвзятые представления о его раннем творчестве жили очень долго, а отчасти (если говорить о современном зарубежном буржуазном литературоведении) живут до сих пор.

В своих выступлениях советских лет М. Горький решительно возражал против приписывания анархизма его раннему творчеству. Он не раз возражал против этого и раньше, в дооктябрьские годы. Например, получив в 1913 году письмо от одного доподлинного босяка, упрекавшего его в «измене» героям ранних рассказов, в «измене» анархизму, Горький ответил: «Ваше утверждение, что “не человек существует для государства, науки, общего блага и иного прочего, а все эти вещи для него”, отнюдь не “азбучная истина”, как Вы изволили назвать его, а просто весьма избитая за последнее время формула гнилого русского анархизма... В свое время эти мысли я слышал в кабаках, ночлежных домах, но я никогда не был сторонником их, они всегда были органически противны мне. Я, как мне думается, достаточно определенно показал прелесть животного эгоизма в очерке “Мой спутник”...» <...>

В отличие от зачинателей реализма XIX столетия, у Горького, имевшего возможность опереться на их опыт, не было «чисто» романтического периода, который сменился бы затем «чистым» реализмом. Освобождение от романтических иллюзий не только укрепляло реализм Горького, но и создавало почву для нового, еще более яркого революционного романтизма.

Герой-рассказчик, появившийся уже в первом рассказе М. Горького «Макар Чудра», прошел затем через многие его ранние произведения: «Емельян Пиляй», «Мой спутник», «Однажды осенью», «Коновалов», «Проходимец» и другие. Почти в каждом из этих рассказов этот герой вступает со своими собеседниками-бродягами в спор, подобный тому, который разгорелся между ним и Макаром Чудрой. Рассказчик резонно говорит Пиляю: «Никто не имеет права покупать свое счастье ценою жизни другого человека», а тот не менее резонно отвечает: «Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему туго пришлось, — наверняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они права!» Показав «внушительный жилистый кулак», Емельян заключает: «И всяк человек — только разным способом — всегда этим правом руководствуется». <...>

Так и в других произведениях, где появляется герой-рассказчик, он выдвигает свои высокие, но во многом книжные доводы («книжником и фарисеем» называет его в минуты раздражения Коновалов), а его оппоненты возражают ему, ссылаясь на опыт собственной жизни и сотен других жизней, с которыми их сводила судьба. Они, эти оппоненты, не правы в своем убеждении, что существующий античеловечный, звериный «порядок» останется навсегда, — в убеждении, которое приводит одних в отчаяние, а других к цинизму и которое всегда порождает в той или иной мере анархическое отношение к жизни. С таким убеждением рассказчик согласиться не может, и это возвышает его над теми, с кем он спорит. Но они, каждый по-своему, помогают ему осознать, как мало он, с его вычитанными из книг представлениями, способен влиять на реальную жизнь.

Уроки, которые герой-рассказчик получает от людей «дна», тем и драгоценны, что это уроки самой жизни. Не забываем рассказ «Однажды осенью» — рассказ о «падшей» Наташе, о самом отверженном из всех когда-либо встречающихся герою-рассказчику существ. В трудную минуту, когда было особенно голодно и холодно и когда рассказчика особенно мучил внутренний холод — отчаяние, Наташа оказалась в чем-то душевно богаче его: «Она меня утешала... Она меня ободряла... Будь я трижды проклят! — Сколько было иронии надо мной в этом факте! Подумайте! — Ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги, глубина мысли которых, наверное, недостижима была даже для авторов их, — я в то время всячески старался приготовить из себя «крупную активную силу». И меня то согревала своим телом продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому нет места в жизни и нет цены и которому я не догадался помочь раньше, чем она мне помогла, а если бы и догадался, то едва ли бы сумел помочь ей чем-либо». <...>

Образ героя-рассказчика подводит к важному вопросу, который имел решающее значение для раннего горьковского творчества, во многом определяя отбор жизненного материала, угол зрения и пафос, — к вопросу о направлении духовных, идейных исканий молодого писателя. <...>

А. П. Чехов писал: «...но ведь заслуга Горького не в том, что он понравился, а в том, что он первый в России и вообще в свете заговорил с презрением и отвращением о мещанстве, и заговорил именно как раз в то время, когда общество было подготовлено к этому протесту. И с христианской, и с экономической, и с какой хочешь точки зрения мещанство большое зло, оно, как плотина на реке, всегда служило только для застоя, и вот босяки, хотя и не изящны, хотя и пьяны, но все же

надежное средство, по крайней мере оказалось таковым, и плотина если и не прорвана, то дала сильную и опасную течь. Не знаю, понятно ли я выражаюсь. По-моему, будет время, когда произведения Горького забудут, но сам он едва ли будет забыт даже через тысячу лет».

Может показаться, что, явно недооценив в этом письме некоторые произведения М. Горького, А. П. Чехов переоценил, преувеличил его заслуги в борьбе против мещанства. Ведь и до Горького многие писатели боролись против этого оплота застоя, — достаточно назвать самого Чехова. Но слова Чехова, одного из самых непримиримых противников мещанства, не были обмолвкой: Горький нанес мещанству особенно сильные удары, разоблачив его «строй души», основы мещанской психологии и идеологии. Он наносил такие удары, прославляя — в противовес мещанской косности и трусости — «безумство храбрых» (эта сторона его творчества недооценивалась Чеховым) и рисуя — в противовес стремящимся к покою мещанам — «не столько отверженных, сколько отвергших» — «отвергших» этот покой людей, которые даже «дно» предпочли мещанскому благополучию. Их судьбы были трагичны, но эта трагичность тоже обращалась против мещанства, становясь суровым обвинительным актом. А удивительные картины степных и морских просторов, все краски и вся музыка горьковских рассказов, вся пронизывающая их поэзия вольности, раскованности, свободы — все это усиливало презрение к тем, кому такая поэзия недоступна и чужда, кого она страшит больше всего. <...>

